

Предисловие «Полки»

В эпоху, когда типичный герой русского романа страдает от невозможности приложить свои силы в России, Гончаров выводит на сцену человека, сознательно избегающего любых усилий. В споре между мечтательным Обломовым и деятельным Штольцем автор не берет ничью сторону: его роман — то ли притча о вечной русской лени, то ли ода мудрому русскому недеянию.

Татьяна Трофимова



О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

Илья Ильич Обломов, помещик и отставной коллежский секретарь, дни напролет лежит в халате на диване. Дремоту нарушает друг его детства Андрей Штольц, энергичный делец, — он напоминает Обломову о прежних мечтах изменить мир, выводит его в свет и пытается расшевелить. Обломов влюбляется в молодую девушку Ольгу Ильинскую, которая намерена «спасти нравственно погибающий ум» и запрещает ему спать днем. Пробуждение оказывается недолгим: после краткого периода счастья и бодрости Обломов под действием какой-то неодолимой силы снова ложится на диван. Имя этой силы — «обломовщина» — стало нарицательным. Конфликт созерцательного и деятельного приобретает у Гончарова абсолютное измерение — ему подвержен каждый из героев, их взаимоотношения, сюжет романа, его современники и эпоха, в которую он написан, и само действие, которое то замирает неподвижно, то лихорадочно разгоняется.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

В 1847 году, задетый замечанием Белинского об эпилоге «Обыкновенной истории» (критик находил его искусственным), Гончаров берется за новый роман — набирает текст, еще не имея никакого представления о его общей концепции. Так возникают «Сон Обломова» и черновик первой части романа. Гончаров планирует его быстро завершить и даже обещает рукопись издателю «Отечественных записок» Андрею Краевскому, но поездка в родной Симбирск не приносит ожидаемого

вдохновения. В 1852 году писатель и вовсе отправляется в кругосветное путешествие в качестве секретаря адмирала Евфимия Путятина, и в результате этого путешествия возникает совсем другая книга — путевые очерки «Фрегат “Паллада”». Современники не понимали, почему писатель бросил многообещающую литературную карьеру. Только в 1856 году Гончаров возвращается к роману и в три с небольшим года завершает его.

КАК ОНА НАПИСАНА?

В «Обломове» Гончаров, по сути, обыгрывает главный литературный конфликт 1850-х годов, когда от писателей все больше требовали социальности и того, что Чернышевский назвал «учебником жизни», в противовес «чистому искусству». Тематика романа — вроде бы социальная, в духе времени: тут есть и деятельный герой (Штольц), и поиск поля деятельности, и «испытание личности». Но к этим обязательным элементам Гончаров подходит нестандартно: любимый его герой бездеятелен, усилия прикладывать не хочет, от «испытания» отказывается. Кроме того, вразрез с тенденциями времени, действие и сюжет в этом романе — не главное. Едва начав рассказывать историю Обломова, Гончаров сразу же впускает в нее невероятное количество любовно выписанных подробностей, интригующих микросюжетов и выразительных портретов. Внимание читателя поглощено не столько развитием событий, сколько множеством мелочей — и вслед за героем романа он погружается в чистое созерцание. Особую роль играет здесь сон Обломова, помещенный в отдельную главу:



Дом №3 по Моховой улице, где Гончаров жил с 1857 года до своей смерти 15 сентября 1891 года. Санкт-Петербург, 1914 год

это своего рода концентрат, объясняющий всплеск и «погасание» жизни Обломова. Заданный этим сном ритм и становится организующим началом романа, который развивается вовсе не по социальным законам, а согласно годичному природному циклу: выйдя из зимней спячки, весной Обломов встречает Ольгу, их отношения переживают летний расцвет и умирают осенью. Причиной окончания романа становится невозможность переправиться через замерзающую на зиму Неву.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Среди авторов, повлиявших на «Обломова», исследователи в первую очередь называют Гоголя. В романе отчетливо видны сюжетные ходы и описательные приемы

«Женитьбы» и «Мертвых душ». Гоголевскую традицию Гончаров осваивает нетипичным для своего времени образом — он отсылает не к «Петербургским повестям», которые ценят авторы натуральной школы и дидактики вроде Чернышевского, а к первому тому «Мертвых душ»: перед лежащим Обломовым проходит галерея гостей, их портреты полны метафорических подробностей, а сам он погружается в живописный сон. Поскольку роман был задуман и начат еще в 1847 году, часто указывают на его тесную связь с натуральной школой, воплотившуюся и в описании бытовых привычек Обломова, и в истории его взаимоотношений с простой женщиной Агафьей Матвеевной. Вместе с тем основная работа над романом приходится на вторую половину 1850-х годов — и это время появления так называемых романов испытания личности,

в том числе Ивана Тургенева и Алексея Писемского, герои которых стремятся к деятельности и активно ищут практическое приложение своим силам. Гончаров вписывает свой роман в этот ряд, но предлагает принципиально другого героя. Помимо этого, исследователи замечают в тексте романа многочисленные отсылки к фольклорным и сказочным сюжетам, а сам Обломов уподобляется былинному богатырю, пролежавшему на печи тридцать лет и три года. Наконец, существуют попытки связать замысел романа с кругосветным путешествием самого Гончарова — нехарактерное для писателя решение провести несколько лет в непрерывных перемещениях как будто помогает ему создать образ абсолютно неподвижного героя. Именно после этой поездки писатель берется за роман с новыми силами и завершает его.

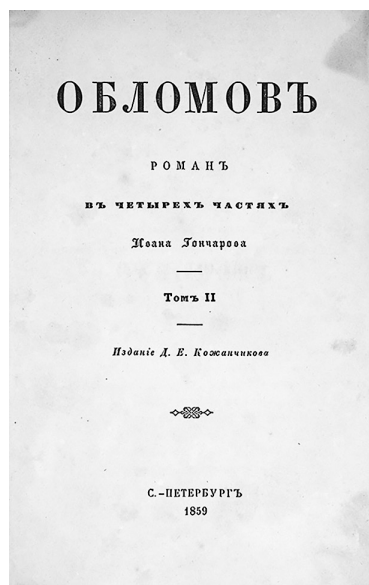
КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

По традиции того времени первая публикация романа «Обломов» состоялась в журнале — выбор Гончарова пал на «Отечественные записки». Роман выходит по частям в первых четырех номерах журнала за 1859 год. Однако с Ильей Ильичом Обломовым читающая публика впервые познакомилась еще в 1849 году, вскоре после выхода «Обыкновенной истории». Тогда, на волне интереса к новому автору, в «Литературном сборнике с иллюстрациями» (приложении к Некрасовскому журналу «Современник») был опубликован «Сон Обломова». Впоследствии оказавшийся в глубине повествования, для первых читателей он стал экспозицией или, как говорил

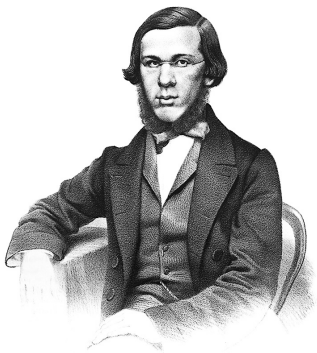
сам Гончаров, увертюрой к неоконченному роману. И если сейчас «Сон Обломова» читается скорее как воспоминание о беззаботном идиллическом детстве, тогда он воспринимался как начало биографии героя. Однако какими бы ни были ожидания читателей относительно возможного продолжения, явление повзрослевшего Ильи Ильича все равно оказалось слишком неожиданным — отчасти поэтому сразу после публикации романа в 1859 году развернулось его бурное обсуждение.

КАК ПРИНЯЛИ КНИГУ?

«Обломова» современные ему читатели и критики однозначно трактовали в контексте романов испытания личности. Тенденцию задают с середины 1850-х



Первое издание «Обломова».
Санкт-Петербург, 1859 год



Николай Добролюбов.
1860-е годы



Александр Дружинин.
1850-е годы



Дмитрий Писарев.
1880-е годы

романы Тургенева — сначала выходит «Рудин», одновременно с первой частью «Обломова» публикуется «Дворянское гнездо», сразу после — «Накануне». Годом ранее выходит монументальный социальный роман «Тысяча душ» Алексея Писемского. Все они — про героев, которые ощущают в себе потенциал, но не находят места для приложения своих сил в российской действительности. Обломов оказывается предельным воплощением этой неспособности отыскать себе место в жизни. В своей знаменитой статье «Что такое обломовщина?» критик «Современника» Николай Добролюбов говорит об инертности, умственной неподвижности, отсутствии привычки к делу и контакта с реальностью как характерном состоянии российской общественной жизни на тот момент. Сходным образом понимает роман и критик «Русского слова» Дмитрий Писарев, посвятивший «Обломову» целую серию статей. Писарев высоко ценит способность Гончарова снять слепок с действительности во всех ее подробностях, но заключает, что ему не хватает критического взгляда на действительность и отчетливо выраженного авторского отношения. В системе ценностей, где литература — прежде всего поле общественной дискуссии, рейтинг критика возглавляет Писемский, трезво указывающий на причины бед, за ним следует более мягкий в обличении Тургенев. Оппонентом Писарева в этом споре выступает Александр Дружинин, критик «Библиотеки для чтения», который полагает, что трансформировать сознание читателей способен только большой и настоящий художник и Гончаров, несомненно, им является. Впрочем, все

критики вне зависимости от своего отношения к роману справедливо предсказывали ему долгую жизнь.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

После публикации «Обломова», закрепившего место Гончарова в ряду больших писателей своего времени, он решительно принимается за новый и последний свой роман. Работа над «Обрывом» займет следующие десять лет, которые дадутся Гончарову куда труднее предыдущих. Гончаров обвинит Тургенева в плагиате и вынесет дело на рассмотрение третейского суда критиков Александра Никитенко, Александра Дружинина, Павла Анненкова и Степана Дудышкина, а затем с трудом помирится с Тургеневым (тот косвенно признает свою вину и выкинет несколько сцен из «Дворянского гнезда»). Писателя будет ждать новый виток чиновной карьеры в Совете по делам печати, но он выйдет в отставку из-за невозможности заниматься литературой. Медленно и тяжело работая над «Обрывом», Гончаров будет пристально следить за появлением сходных сюжетов в мировой литературе и все больше погружаться в состояние душевного расстройства из-за ощущения, что повсюду реализуются именно его замыслы. Судьба же «Обломова» развивается в точности так, как предсказывали первые критики. Обломовщина как явление становится в один ряд с донкихотством, донжуанством, гамлетизмом и подобными типологическими конструктами. При жизни писателя начиная с 1861 года появляется двенадцать переводов романа, хотя сам Гончаров, по его словам, не ищет

европейского признания. Всего роман переведут на 47 языков — он останется самым известным произведением Гончарова. В 1979 году Никита Михалков снимет экранизацию романа — «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

Первый раз слово «обломовщина» произносит Штольц — после того, как Илья Ильич описывает ему свои мечты о размеренной барской жизни в усадьбе с пикниками в березовой роще, медленно ползущими по полю возами с сеном и босоногими крестьянками с загорелыми шеями. Штольц шокирован. «Нет, это не жизнь! — решительно заявляет он. — Это... какая-то... обломовщина». «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?» — спрашивает его в ответ Обломов. Ведь все люди, одержимые суетой и бурной деятельностью, уверяет он, в конечном счете хотят для себя именно отдыха и покоя. Еще раз это слово возникает в момент решающего объяснения Обломова с Ольгой, и произносит его уже сам Обломов. «Ты добр, умен, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя?» — спрашивает Ольга. «Обломовщина», — шепчет Илья Ильич в ответ.

Первые критики романа, Добролюбов и Писарев, были склонны видеть в обломовщине квинтэссенцию социальных проблем дореформенной России: то есть, возможно, Обломов и хотел бы быть другим, о чем ясно свидетельствует его детство, но барское окружение и отсутствие привычки к самостоятельной жизни убили в нем все разумные стремления.

Ключевой конфликт обломовщины в их понимании — это конфликт жаждущего деятельности разума и подавляющей его инертной среды, определяемой барско-крепостными отношениями. Их оппонент Дружинин, напротив, выделяет в обломовщине не классовые, а общечеловеческие свойства: избегание столкновения с действительностью, уход в мир «нравственной дремоты» и неприспособленность к практической жизни. Причем критик не готов признавать эти свойства однозначно отрицательными, говоря о «мудрых отшельниках».

В 1912 году, в 100-летний юбилей писателя, поднялась вторая волна разговора об обломовщине. На этот раз в ней выделяли в первую очередь психологические аспекты — сознательный отказ от деятельности стал восприниматься как жизненная философия. Один из главных исследователей творчества Гончарова Елена Краснощёкова указывала, что эти особенности замечали вокруг себя и другие современники писателя¹. В 1847 году, то есть за два года до публикации «Сна Обломова», Александр Герцен в цикле статей «Капризы и раздумья» писал о лени и привычке как основаниях национального характера: русские склонны быть несамостоятельными и отдавать главенство над собой некоему авторитету. По мнению Краснощёковой, именно эти приметы «русского менталитета» Гончаров называет обломовщиной.

ПОЧЕМУ ОБЛОМОВ НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ И ЗАНЯТЬСЯ ДЕЛОМ?

Сам Илья Ильич дает множество объяснений своей невозможности встать с дивана, выйти из дома и начать заниматься делами. Это и затянувшееся утро, и медлительность слуги Захара, и слабое здоровье, и непонимание, зачем куда-то идти, если дома хорошо, и нежелание уподобляться «другим», и разочарование в перспективах деятельности в России, и убеждение, что человек, чем бы он ни занимался, все равно стремится к покою. Список можно продолжать. При этом ни Обломов, ни Гончаров не предлагают никакой иерархии возможных объяснений: за время, прошедшее с момента первой публикации романа, его интерпретаторы выдвигали на первый план разные аспекты. Современные Гончарову критики, конечно, считали, что вся проблема в воспитании — и «Сон Обломова» ясно показывает, как изначально активный ребенок Илюша, погруженный в барство и крепостные отношения, отучился и от активности, и от самостоятельности. Но более позднее восприятие романа, особенно на Западе, переносит проблему в область психологии личности. В частности, американский исследователь Франклин Рив писал, что неспособность Обломова к действию — проявление комплекса невзросления и вечного инфантилизма². Он же увидел в поведении героя толику восточного фатализма: впоследствии исследователи трактовали это уже как проявление буддистского мировоззрения с его уважением к созерцательности. Современный литературовед Владимир

Кантор трактует бездеятельность Обломова как типичное свойство русского интеллигента (исследователь рассматривает роман в контексте российской перестроенной проблематики). Ссылаясь на слова Чернышевского о «долгом навье к сну», Кантор видит в Обломове архетип героя эпохи перемен, не готового взять на себя ответственность за большие процессы³. Есть даже попытки подвести под бездействие Ильи Ильича фольклорные и мифологические основания: описание жизни в Обломовке изобилует сказочными и былинными отсылками и акцентирует характерное для традиционной культуры цикличное представление о жизни, где всякое резкое действие нарушает сложившийся баланс. Что интересно, в принципе, роман Гончарова допускает все эти трактовки.

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ОБЛОМОВ СТРАДАЕТ ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ?

Ответ: Юрий Сапрыкин

Казалось бы, Обломов, вечно откладывающий серьезные дела на потом, просто воплощение модного сейчас недуга. Практически вся первая глава романа посвящена различным бытовым, психологическим и бессознательным уловкам, с помощью которых он отстраняет от себя «два несчастья» — известия о том, что ему придется съезжать с петербургской квартиры, а дела в его имении пришли в полный беспорядок. Обломов не просто избегает действий, которые требуется предпринять, — он старается отогнать даже мысли о них,

предполагая решить все неприятные вопросы после того, как будет готов большой и окончательный план усовершенствования его хозяйства (а вместе с тем и жизни). Обломов отмахивается от чиновника Тарантьева, предлагающего удобный вариант переезда, и устраивает форменный скандал слуге Захару, который то и дело напоминает, что квартирный хозяин не ждет.

И тем не менее это состояние нельзя назвать прокрастинацией. Термин «прокрастинация» предполагает, что человек игнорирует важные дела, отвлекаясь на мелкие и незначительные; например, то и дело обновляет ленту соцсетей вместо того, чтобы готовиться к экзамену. Это состояние выматывает, лишает сил; оно квалифицируется как нежелательное. Про Обломова не скажешь, что он откладывает важные дела, занимаясь неважными, — скорее он стремится не заниматься никакими, отказать от любых действий, забывшись в блаженной неге. Его мечтательная дрема растворяет в себе и переживания, связанные с невыполненными срочными делами, и вообще тоску по несбывшемуся. Это состояние воспринимается Обломовым как естественное и желанное: «В десять мест в один день — несчастный!» — заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой».

Обломов не замечает по-настоящему их нервной суетой (или не менее болезненной апатией); его состояние скорее определяется сложным комплексом чувств, которые лингвисты Алексей Шмелёв, Анна Зализняк и Ирина Левонтина связывают с глаголом «собирается». «В значении

целого ряда русских языковых выражений содержится общее представление о жизни, в соответствии с которым активная деятельность возможна только при условии, что человек предварительно мобилизовал внутренние ресурсы, как бы сосредоточив их в одном месте (собрав их воедино). Чтобы что-то сделать, надо собраться с силами, с мыслями — или просто собраться... Слово “собираться” указывает не просто на наличие намерения, но и на некоторый процесс мобилизации внутренних ресурсов, который может продолжаться довольно длительное время и при этом завершиться или не завершиться успехом... Процесс “собрания” при этом сам по себе осмысливается как своего рода деятельность — что дает возможность человеку, который, вообще говоря, ничего не делает, представить свое времяпрепровождение как деятельность, требующую затраты усилий». Обломов не просто откладывает дела — он внутренне готовится к их осуществлению; даже в самых крайних своих проявлениях его лень — не вялая и тем более не апатичная, она мечтательная и, следовательно, в каком-то смысле деятельная. Ничего не делая, Обломов оказывается постоянно занят — хотя бы переживанием этого ничегонеделания, иногда тревожным, но чаще спокойным и радостным.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЖИВЕТ ОБЛОМОВ И КАКОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОН МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ?

Основной источник дохода Обломова, как и многих дворян того времени, — имение. Обломов по меркам русского дворянства не беден: от родителей ему достается

350 крепостных душ, и его имение находится «в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии». Для сравнения: у Льва Толстого, когда он вступил во владение Ясной Поляной, было 330 крепостных, и имение никогда не было особо прибыльным, поскольку в этой местности плотность населения выше и содержание самих крепостных обходилось дороже. В случае же Обломова, очевидно, у него во владении находится существенно больше земель, преимущественно полей. С продажи зерна он, как сообщает автор, в лучшие времена получал от 7 до 10 тысяч рублей ассигнациями ежегодно. И хотя мы застаем его уже в другой ситуации (дела его запущены, староста жалуется на недоимки по оброку, и получает Обломов уже только от 2 до 3 тысяч рублей ассигнациями), Илья Ильич вполне может позволить себе нанять квартиру в центре Петербурга, не слишком ужимать себя в хозяйственных расходах, при этом не служить и даже планировать со Штольцем путешествие за границу. Уменьшение дохода не исключительно его проблема: известно, что к моменту крестьянской реформы 1861 года две трети имений вообще находилось в залоге, под который государство выдавало денежные кредиты, таким образом поддерживая дворян. Более того, Обломов вполне может позволить себе жениться — при некоторой оптимизации расходов они с женой могут даже остаться жить на квартире в Петербурге, не говоря уже о том, что они легко могут расположиться и в самой Обломовке, где расходы на жизнь несравнимо меньше. Но для этого Обломову пришлось бы управлять своим имением, а не откладывать письма старосты в долгий ящик.



Часть первая

I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго глядяваясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся

тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самонаименьшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В трех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как

соблюсти *decorum* *¹ неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовлетворялся бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напыленная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно

*¹ Видимость (*лат.*).

выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т.п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускаться к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.

— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и...

— Захар! — закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье

цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.

В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с проехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё гложут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, Бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

— Что ты? — спросил Илья Ильич.

— Ведь вы звали?

— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.

Прошло с четверть часа.

— Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагоприятно, немного стороной поглядывая на барина, и, наконец, пошел к дверям.

— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.

— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил со старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполупорот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.

— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.

— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

— Куда ж его положили — почему мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!

— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.

— Нашел, что ли? — спросил он только.

— Вот какие-то письма.

— Не те.

— Ну, так нет больше, — говорил Захар.

— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич, — я встану, сам найду.

Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»

— Ах ты, Господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье! Хоть бы смерть скорее пришла!

— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.

— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.

— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.

— Все теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.

— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел

он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.

— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!

— Уж коли я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом. — Стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?

— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.

— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.

— Это я к святой неделе убираю; тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.

— Я иногда в театр хожу да в гости; вот бы...

— Что за уборка ночью!

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.

— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.

Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?

— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумал.

— У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам — я слышу.

— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»

— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.

— Не наберется, — перебил барин, — не должно.

— Наберется — я знаю, — твердил слуга.

— А наберется, так опять вымети.

— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!

— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...

— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ка, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, — ты лучше убирай.

— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.

— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.

— Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

— Да право! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.

— Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.

Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.

— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одинадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!

— Ах ты, Боже мой! Ну! — слышалось из передней, и потом известный прыжок.

— Умыться готово? — спросил Обломов.

— Готово давно! — отвечал Захар, — чего вы не встаете?

— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

Содержание

Предисловие «Полки».....	5
Обломов	25
<i>Часть первая</i>	27
<i>Часть вторая</i>	181
<i>Часть третья</i>	325
<i>Часть четвертая</i>	417
Примечания	543
Источники иллюстраций	543